

ИСТОРИЯ МОСКВЫ
С АЛЕКСАНДРОМ
ВАСЬКИНЫМ

РАССКАЗЫ
О ЖИЗНИ
МОСКОВСКИХ
ЗДАНИЙ И ИХ
ОБИТАТЕЛЕЙ

История Москвы с Александром Васькиным

Александр Васькин

**Рассказы о жизни московских
зданий и их обитателей**

«Этерна»

2020

УДК 94 (470-25)
ББК 63.3 (2)

Васькин А. А.

Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей /
А. А. Васькин — «Этерна», 2020 — (История Москвы с
Александром Васькиным)

ISBN 978-5-480-00415-1

В Москве более ста тысяч домов – высоких и малоэтажных, кирпичных и панельных, старых и новых. Но есть среди них такие, что не подпадают ни под какую статистику, – это дома с изюминкой, с необычной историей, много лет хранящей имена известных жителей и подробности случившихся знаменательных событий и происшествий. Вот об этих-то зданиях и рассказывает новая книга писателя и историка Москвы Александра Васькина. Читатели встретятся на страницах книги с Антоном Чеховым и Константином Станиславским, Борисом Пастернаком и Алексеем Щусевым, Николаем I и Екатериной Фурцевой, Анри Матиссом и Анатолием Зверевым, Сергеем Прокофьевым и Эльдаром Рязановым, а также многими другими знакомыми персонажами. Путеводитель продолжает избранную несколько лет назад автором тему, воплощенную в получивших большое признание у читателя книгах «Открывая Москву», «Узнай Москву» и «Разгадай Москву». Для широкого круга читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94 (470-25)
ББК 63.3 (2)

ISBN 978-5-480-00415-1

© Васькин А. А., 2020

© Этерна, 2020

Содержание

1. Дом «под рюмкой» в Староконюшенном	8
2. Ярослав Смеляков на Арбате: «К врачам обращаться не стану»	26
3. Галерея на дому: у коллекционера Сергея Щукина в Большом Знаменском	38
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Александр Анатольевич Васькин
Рассказы о жизни московских
зданий и их обитателей

© А.А. Васькин, 2020

© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2020



A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the author, A. A. Vashkin.

1. Дом «под рюмкой» в Староконюшенном

«Староконюшенная» жизнь – Архитектор Семен Кулагин – Купец-самородок с подозрительной трубой – «Торговый дом Трындына» – Доктор Петр Соловов, прототип персонажа из «Собачьего сердца» – Арбат в 1917 году: перестрелка и кучи мусора – «Верните городских!» – Разруха в головах – Уплотнение и коммуналка – Лика Мизинова и ее салон – «Маши с Арбата»

Издавна в Москве было две Конюшенные слободы – Старая и Новая, как два автопарка, на телегах которых разъезжали не только царь-батюшка, но и его челядь, всякие там спальники да кравчие¹. Староконюшенный переулочек напоминает нам о самой первой по времени возникновения слободе, что стояла у Пречистенских ворот Белого города еще при Иване Грозном. После очередного большого пожара слободу со всем ее населением от греха отправили подальше, аж за Земляной вал, поближе к Новодевичьему монастырю, и стала она Новой Конюшенной. Было это в XVII веке. А старая слобода превратилась вскоре в весьма престижный район Первопрестольной, благодаря чему цены на землю выросли здесь в несколько раз (этот процесс, похоже, неостановим). Богатое дворянство охотно обживало район между современной Пречистенкой и Арбатом – то, что и сегодня мы называем Приарбатьем, место заповедное и аристократическое.

Существовало даже некое понятие «староконюшенной» жизни – «средоточия московской интеллигентской обывательщины», по выражению профессора и москвича Николая Давыдова. Среди жителей Приарбатья – герои Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, а также их старших коллег – Льва Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. «Мои ранние годы, – пишет Зайцев, – проходили в мирной, благодатной России, в любящей семье, были связаны с Москвой, жизнью в достатке – средне-высшего круга интеллигенции русской». Свой круг, свои люди, не меняющиеся десятилетиями семейные устои и традиции сытой и тихой жизни, передававшиеся из поколения в поколение, только не в усадьбах среднерусской полосы, а в самом что ни на есть центре города. И все это с определенным апломбом. Недаром у Петра Боборыкина в романе «Китай-город» (1882 г.) находим фразу: «Вы вобрали в себя всю добродетель нашего фобура». Фобуром в те годы называли арбатские переулочки в подражание *Faubourg Saint-Germain* – сен-жерменскому аристократическому предместью Парижа.

¹ Кравчий – придворный чин в Древней Руси. Служил государю в торжественных случаях за обеденным столом, в его ведении были стольники, подававшие кушанья. – *Здесь и далее прим. ред.*



Приарбатье – московский Сен-Жермен

Староконюшенный чем только не был за свою длинную историю – сперва улицей (Конюшенной, затем Сторожевой), потом переулком (Коробейников, Бахметьевский), пока наконец не утвердилось его нынешнее имя. Заглянув в переулок с Арбата, мы сразу натываемся на первый попавшийся нам дом № 47, он как раз последний по номеру. Этот интереснейший образец московского модерна, отмечающий пересечение Арбата со Староконюшенным переулком, построен в 1910–1912 годах и принадлежит к числу наиболее удачных творений зодчего Семена Федоровича Кулагина, признанного мастера московской архитектурной школы начала прошлого века. Подмосковный уроженец, Кулагин получил профессиональное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у самого А.С. Каминского – плодovitого мастера русской эклектики 1860–1880-х годов, в его же мастерской он приобрел и первые профессиональные навыки. Училище Кулагин окончил в 1890 году с Малой серебряной медалью, став неклассным художником архитектуры. Среди его работ – перестройка храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове, интерьеры храма Иконы Божией Матери Ржевской на Поварской улице, лечебница в Большом Николопесковском переулке и другие.

И все же основной областью приложения его усилий стало проектирование доходных домов. И дом № 47 в Староконюшенном – лучший из них. Венчающая угол дома изящная башенка, большие окна с арочными завершениями, плавные изогнутые линии, подчеркивающие высоту здания (по тем временам это был небоскреб!), рельеф с львиноголовыми грифонами на фасаде, единый стиль оформления интерьеров – все это указывает нам на принадлежность постройки к главенствовавшему в Москве начала XX века художественному стилю модерн, переводимому с французского как «современный». Были здесь и неперенные аттики², утраченные относительно недавно, при надстройке дома еще одним, седьмым этажом, искавшим пропорции первоначального проекта. Но нельзя, однако, не увидеть в здании и мотивы неоклассицизма, свидетельствовавшие о завершении эпохи модерна.

Этот дом очень похож на тот, в котором Борис Пастернак поселил свою Лару из «Доктора Живаго» – «в верхнем этаже большого дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего

² Атик – декоративная стенка, возведенная над венчающим сооружением карнизом.

солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в половодье. Ползимы квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями. В форточки дул теплый ветер с юга, на вокзалах белугой ревели паровозы, и болеющая Лара, лежа в постели, предавалась на досуге далеким воспоминаниям».

Изюминкой дома служит причудливая крыша над башенкой, напоминающая перевернутую рюмку. Откуда она здесь? Случайно ли? Строился дом по заказу богатейшей старообрядческой семьи Трындиных – известных московских фабрикантов. А старообрядцы, как известно, придерживаются весьма строгих правил в быту, в поведении. Они, например, исповедуют сухой закон, то есть совсем не пьют спиртного, а перевернутая рюмка – символ трезвой жизни. Она царит над всем переулком.



Дом «под рюмкой». Начало XX века

Попробуй-ка спроси сегодня первого попавшегося прохожего на том же Арбате – многих ли русских промышленников он знает? Хорошо еще, если назовут Мамонтовых или Морозовых, в крайнем случае Рябушинских. Они и по сей день на устах. А вот Трындины... Сегодня о них вспомнят разве что старожилы, а когда-то в дореволюционной Москве они были в большой силе. Их магазин на Большой Лубянке был известен всем ученым людям Первопрестольной,

торговали они не конфетами (как Абрикосовы) и не мануфактурой (как Шукины). Семейное предприятие Трындиных двигало технический прогресс, занимаясь производством оптики, и было в этом вопросе главным в России.

Первым из Трындиных пришел в Москву из Владимирской губернии крестьянин-старообрядец Сергей Семенович Трындин. Случилось это, вероятно, в 1780-х годах, ибо в то время он работал в Императорском Московском университете механиком, где и «прошел первоначальное обучение изготовлению физических приборов в физическом кабинете». Получив необходимые навыки, полюбив свою профессию, он открыл в Москве мастерскую по изготовлению и ремонту различных научных измерительных инструментов.

Крестьянин-старообрядец выбрал верную нишу для развития предпринимательской деятельности, ибо до него никто этим не занимался. В деле ему большую помощь оказывали сыновья – так было принято в России, что наследники шли по той же стезе, что и родители. А было у него их, как в сказке, трое – Матвей, Абрам и Егор, и все деловые, с передавшейся от отца природной сметкой. К моменту начала Отечественной войны 1812 года семейное дело Трындиных достигло широкого размаха, позволившего открыть «первый в России оптический русский магазин». После войны произошел еще больший рост производства – оно и понятно, в строительстве без специальных инструментов не обойтись. А строили тогда много – в одной лишь Москве после французской оккупации сгорело до восьмидесяти процентов зданий.



Егор Сергеевич Трындин, отец братьев Трындиных



Сергей Егорович Трындин

С годами расширялся ассортимент производства, и когда в 1831 году Трындины представили свою разнообразную продукцию на 2-й выставке мануфактурных изделий в Москве, то публика с большим интересом разглядывала геодезические приборы, в том числе нивелиры и астролябии, солнечные часы, барометры, термометры и прочее. Многие, особенно иностранцы, удивлялись – русские готовы сами делать столь сложные инструменты, значит, не такая уж Россия и лапотная! А уже через четыре года фабрика Трындиных на Большой Лубянке приступила к выпуску электрических машин. Приборы фирмы побывали даже в Арктике – с помощью русского полярного исследователя Фердинанда Врангеля, который пользовался солнечными часами работы «московского мастера Абрама Сергеевича Трындина».

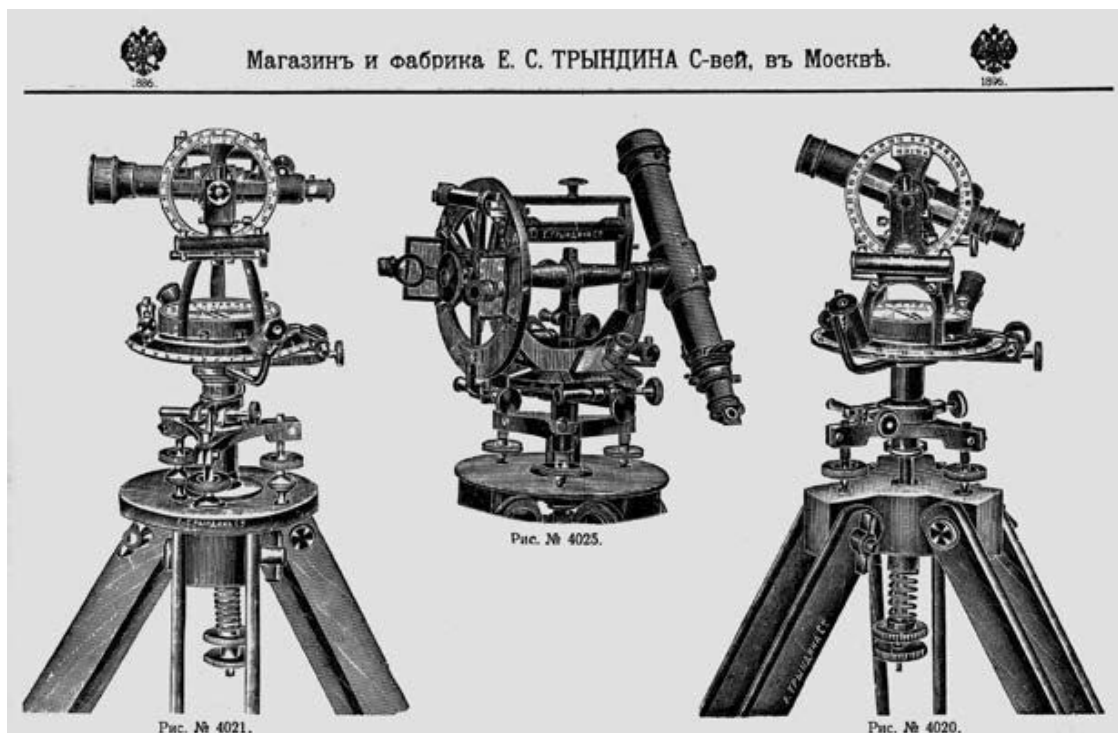


Петр Егорович Трындин

Нас, конечно, интересует тот представитель многочисленной семьи, который выстроил на Арбате доходный дом. Это был Сергей Егорович Трындин, внук родоначальника и даже названный в его честь. Семейное дело он возглавил в 1868 году, в двадцать один год, вместе с младшим братом Петром. Несмотря на молодость, планы его были грандиозны – поставить производство на современный промышленный уровень, а главное, вытеснить с российского рынка европейских конкурентов. С этой целью Сергей Егорович перестраивает фабрику, в разы увеличивая ее размеры для развития производства хирургических инструментов. Трындиным удастся стать поставщиками медицинского оборудования для Российского общества Красного Креста во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. За это они в 1882 году удостоились «Знака Красного Креста за Русско-турецкую войну 1877–1878 годов» от Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах и «высочайшей благодарности» от императрицы Марии Федоровны. Фирма стала комиссионером Общества русских врачей, снабжая инструментами больницы и госпитали. Немало новейшего оборудования было приобретено Трындинами за границей, чтобы затем по образцам наладить производство у себя. Раз-

витие в России антропологии также способствовало повышению их доходов – они поставляли в полицейские участки даже переносные портативные наборы антропометрических инструментов для обмера преступников.

Трындины представляли свою продукцию на крупнейших международных смотрах, в частности в 1884 году на Всемирной выставке в Антверпене за отличное качество привезенных из России астролябий, солнечных часов и телескопов фирма удостоилась золотой и серебряной медалей. А на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде они получили почетное право ставить на своей продукции государственный герб – факт примечательный, свидетельствующий о признании высокого качества.



Продукция Трындиных

Помимо физических, механических, хирургических и ортопедических приборов, санитарных принадлежностей, волшебных фонарей (аппаратов для проекции изображений), производившихся фирмой, Трындины занимались еще и установкой громоотводов на самых известных зданиях Москвы, в том числе на храме Христа Спасителя, Большом театре и так далее. А за участие в строительстве храма Христа Спасителя в декабре 1883 года братьев наградили серебряными медалями на Александровской ленте. Они же провели электричество в резиденцию московского генерал-губернатора на Тверской улице. В здании на Большой Лубянке братья устроили обсерваторию, где демонстрировались продаваемые ими астрономические приборы.

Когда в 1894 году отмечалось 85-летие основания фирмы, на фабрике Трындиных трудилось 150 рабочих на 70 станках, а годовой оборот превышал 300 тысяч рублей. Праздник был большой: «Кроме рабочих фабрики и служащих, было приглашено много посторонних гостей. В помещении фабрики, роскошно убранном, перед иконой Иверской Божией Матери было совершено молебствие, с провозглашением многолетия Государю Императору, Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу и всему Царствующему Дому. Рабочие фабрики поднесли юбилярам иконы и хлеб-соль, а служащие – роскошный адрес, жетон и альбом с фотографическими портретами. Торжество закончилось обедом, на который были приглашены все

присутствовавшие на молебствии, а рабочим было предложено угощение», – сообщал вездесущий «Московский листок».

В 1902 году братья Сергей и Петр Трындины создали «Торговый дом Е.С. Трындина Сыновей» с основным капиталом в 200 000 рублей, собранным поровну. Сергей Егорович отвечал за «наблюдение за всем счетоводством, корреспонденцией, за торговой стороной дела, приемом подрядов и поставок, а также посещение магазина и конторы», а Петр Егорович должен был «ведать всей хозяйственной частью, приобретать товары, наблюдать за работами и рабочими на фабрике, а также находиться при торговле в магазине». Отныне под этой маркой стали производиться все товары на фабрике.

Сергей Егорович Трындин занимал большое общественное положение, в 1887 году он «в воздаяние особых трудов и заслуг, оказанных им по званию Действительного члена Российского Общества Красного Креста, Всемилоостивейше пожалован Кавалером Императорского и Царского Ордена Святого Станислава третьей степени», что дало ему право на получение звания потомственного почетного гражданина, коим он стал в 1888 году. Его также наградили орденами Святой Анны III степени и Святого князя Владимира IV степени. В 1889–1893 годах он был гласным Московской городской думы, председателем Московского городского попечительства о бедных Мясницкой части 1-го участка (в 1894–1915), много занимался благотворительностью, помогая слепым детям, находясь в составе Московского мужского благотворительного тюремного комитета и будучи почетным благотворителем Общества военных врачей. В 1903 году он стал коммерции советником.

Интересно, что сыновей, которым Сергей Егорович мог бы передать дело, у него не было (он умер в 1915). А в 1868 году Трындин женился на купеческой дочери Александре Михайловне Селиверстовой, также происходившей из старообрядческой семьи. Жена родила ему двух дочерей, из которых выжила лишь одна, Анастасия (род. в 1871). Она вышла замуж в 1899 году за потомственного дворянина и надворного советника Сергея Васильевича Щепотьева. О том, насколько изменились времена, свидетельствует тот факт, что муж не был старообрядцем. В прежнее время такое вряд ли было возможно. Старообрядцы предпочитали породниться с представителями своей же веры. Поэтому Анастасии пришлось выйти из старообрядчества и присоединиться к единоверческой церкви. Только тогда молодых обвенчали, и в дальнейшем у них родилось семеро детей. Именно Анастасия Сергеевна Щепотьева и была владелицей дома на Арбате в 1917 году (когда скончался ее муж), вот почему ныне это здание известно как «Доходный дом с магазинами С.Е. Трындина и А. Щепотьевой».

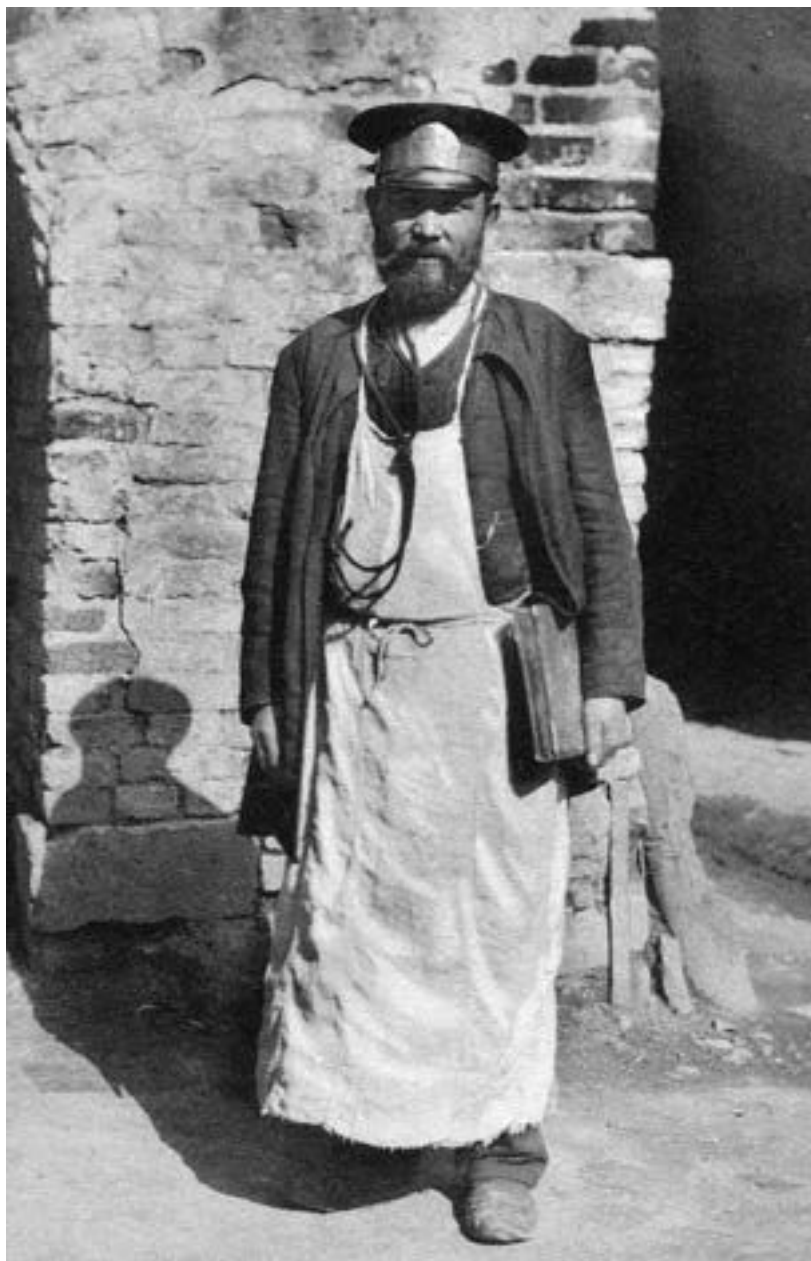
Ну а кто же жил в этих роскошных апартаментах? Явно люди небедные, ибо на каждом этаже предусматривалось лишь по две квартиры, каждая площадью несколько сотен метров и чуть ли не по десять комнат. Например, в квартире № 8 обитал известный московский хирург и уролог Петр Дмитриевич Соловов. Родился он в 1875 году в Скопине Рязанской губернии, после окончания в 1898 году Московского университета работал в его госпитальной хирургической клинике, а затем в земских больницах Воронежской, Пензенской и Екатеринославской губерний. В 1908 году, защитив диссертацию, Соловов стал доктором медицины. Немало пациентов поставил Петр Дмитриевич на ноги, он лечил людей и в Пироговской больнице, и в Боткинской, и в других клиниках Москвы. Пользовал он и Льва Толстого, был домашним врачом в семье Третьяковых.

На Арбате Соловов поселился в 1913 году, пациенты приходили к нему прямо домой, бывало, что по 30–40 человек в день. Женщин и мужчин он принимал в отдельных просмотровых комнатах, были и помещения для ожидания, где больные ждали своей очереди. Можно себе представить, как осложнялась жизнь членов семьи доктора – фактически квартира превратилась в проходной двор, куда приходили даже ночью с разными болячками. У Соловова была жена, три дочери и сын, жившие в этой же квартире. Так что сравнивать Соловова с профессором Преображенским из «Собачьего сердца» можно лишь с некоторой условностью. Вот

почему вскоре Соловов приобрел на Большой Молчановке участок земли под хирургическую лечебницу, где он предполагал и жить со своей семьей. Но обстоятельства сложились по-иному. Во время Первой мировой войны лечебницу занял госпиталь, ну а после 1917 года – знаменитый родильный дом Г.Л. Грауэрмана, где появилось на свет немало замечательных москвичей. Февральскую революцию жильцы дома встретили восторженно. Узнав об отречении царя, они вместе со всеми москвичами участвовали в стихийной демонстрации, когда на улицы Москвы вышло более полумиллиона человек – четверть городского населения! Получивший свободу народ сразу принялся ловить городских, олицетворявших старую надоевшую власть. Кого-то из пойманных просто побили, кого-то сбросили в ледяную Москву-реку. Вместо полиции придумали народную милицию, в которую записывали всех подряд, лишь бы с оружием. Дворники бросили метлы и веники и пошли организовывать профсоюз с требованием увеличения заработной платы. Один митинг сменял другой. Все бросили работу и говорили, говорили, говорили...



Московский городской. XIX век



Московский дворник. XIX век

Март и апрель 1917 года прошли еще в атмосфере эйфории. Но постепенно росли кучи мусора на улицах – никто ничего не убирал: свобода! Раньше бы городскому пожаловались на дворника, а теперь к кому идти? В доме генерал-губернатора засел комиссар от Временного правительства Кишкин, но проку от него было мало, попробуй дозвонись при неработающем телефоне. Трамваи ходили с трудом, а на сакраментальный вопрос кондуктора о билете можно было услышать: «Мы – люди свободные! Платить не будем!» Не стали короче и очереди в магазинах – талоны на продукты ввели еще в 1916 году. Хлеб, сахар, спирт – все превратилось в дефицит. Необычайных размеров достиг черный рынок. Господа спекулянты правили бал.

Улицы захлестнула преступность, квартиры грабили уже и среди бела дня. Нередко воры вступали в бой с милиционерами, убивая последних. Жители Староконоушенного организовали домовую комитет, распределявший, кому и в какую ночь дежурить в парадном с пистолетом. К ноябрю обстановка обострилась. Валявшуюся власть подбирали большевики. Арбат

стал одним из очагов боев красных с белыми. Пострадал и дом в Староконюшенном. Академик Михаил Богословский, житель Арбата, отметил в дневнике 4 ноября 1917 года: «Суббота. После завтрака гуляли по переулкам нашего района. Много следов от пуль, много разбитых стекол. Есть дома, где почти все стекла выбиты и повреждены снарядами стены. Какое варварство, какое дикое преступление! Глубина русского дикаря, кто изведает тебя! Встречались обыватели интеллигентного вида, унылые, испуганные, хмурого вида с поникшими головами. У всех на душе тяжелая дума».

Дума – понятно о чем: когда же вернется благословенный порядок в лице городского? Ольга Книппер-Чехова, жившая на Пречистенском бульваре, жалуется Марии Чеховой, сестре писателя, 2 ноября 1917 года: «Маша, если бы я могла дать тебе почувствовать, что сейчас переживаю. Пойдет уже седьмой день жуткой неизвестности. Гремят орудия, пулемет, летят шрапнели, свистят пули, разбивают дома, Городскую Думу, Кремль, разбили лошадей на Большом театре. Что-то страшное творится. Свой на своего полез, озверелые, ничего не понимающие. Откуда же спасение придет? Наши герои – юнкера, молодежь. Офицеры, студенты, вся эта горсточка бьется седьмой день против дикой массы большевиков, которые не щадят никого и ничего и жаждут только власти. Телефоны не работают. Мы не знаем, что с нашими близкими, и они о нас ничего не знают. Провизия кончается, грозит форменная голодовка, хлеба не имеем уже пять дней. Сейчас пришел Лёва (племянник Лев Книппер. – А.В.), не спавший две ночи и сидевший все под пулями. Он приехал на два дня из Орла, где он служит в конной артиллерии, и, конечно, не утерпел и пошел в дело. Вначале он хоть был конным, а сейчас сидит в переулках и выбивает большевиков. Да не раздевался, не мылся все эти дни. Вся жизнь свелась в ожидание Лёвы: придет или не придет. Забегал каждый день, чтобы поесть. Родители, наверно, с ума сходят, ничего не знают о нём. Сейчас вымылся, лег у меня в спальне. Я все эти дни не сплю или сплю на диване. В передних комнатах жутко. В наши две квартиры уже попали пули, и потом холод там. Здесь хоть от самовару нагреешься. Жутко смотреть на вымерший бульвар, только галки как полоумные носятся, испуганные выстрелами. Ходят патрули юнкерские, высматривают большевиков, которые пуляют с крыши. Сейчас один офицер из нашего дому пошел на Кисловку, и я умалила его занести письмецо к матери, узнать, жива ли она. Все квартиранты дежурят с револьверами и день, и ночь в подъездах, и ворота, и двери заперты, и не освещается парадное, дежурят во дворе, пожары, а главное – неизвестность. Идет ли подмога? Говорят, железнодорожный союз не пускает казаков в Москву. Никто ничего не знает. Полная анархия. Чем это все кончится, никто не знает. Пока был телефон, все-таки была какая-то жизнь, а сейчас как в тюрьме сидишь. Ничем не возможно заниматься, раскладывая пасьянсы да рассматриваю старые годы журналы. Вчера разорвался снаряд над нашим домом, – какой это был треск! И сейчас погромыхивают орудия, а винтовки и револьверы не замолкают – привыкли уже. Через четыре дня, седьмого ноября, горничная Даша докладывает с похоронной физиономией, что большевики осилили и что кончилась бойня. Лёва не мог поверить и тут же сел играть траурный марш Шопена...» Лёва Книппер еще успел повоевать с красными, а затем стал успешным советским композитором, автором широко популярной песни «Полюшко-поле». Нашла себя в Советской России и его тетушка.

Взявшие власть большевики отобрали у доктора Соловова клинику на Молчановке, а вот услугами его пользовались. Нередко к дому на Арбате подъезжала машина – это Лев Троцкий присылал за доктором свой автомобиль, чтобы Петр Дмитриевич приехал в Кремль лечить его родителей. Примечательно, что денег за это Соловову не платили – видимо, Троцкий полагал, что уже самым этим фактом оказывает врачу огромную честь. Спасибо, что не расстреляли, ведь Соловов был подполковником царской армии. Но однажды домой на Арбат привезли целый пуд муки – благодарность за лечение жены шофера Троцкого.

Интересные события происходили в этом доме в 1919 году. В роскошных апартаментах некогда аристократического Арбата расквартировался полк Красной Армии, он занял поло-

вину дома – ту, где размещались все нечетные квартиры. Их жильцам было велено в двадцать четыре часа освободить помещения и переехать в четные квартиры, так сказать, уплотниться. Так доходный дом превратился в коммунальный клоповник и казарму одновременно. Солдаты, подобно героям «Собачьего сердца», каждый день собирались во дворе дома и во всю ивановскую пели «Интернационал». Оправлялись они тут же, во дворе, ибо канализация в доме оказалась разрушена, отопления не было.

В годы военного коммунизма семья Соловова выживала как могла. Жена доктора пекла пирожки сотнями, чтобы затем продать их на Смоленском рынке. В квартире завели кроликов, которые, размножившись, спрятались в дровяных штабелях кладовки – выманить их оттуда представлялось маловероятным. Зимы были суровыми, когда кончались дрова, печи топили книгами и мебелью. Из всех девяти комнат солововской квартиры топили лишь в спальне и детской. Трудно представить, что творилось на Арбате – трамваи не ходили, уличное освещение не работало, в разбитых витринах опустевших магазинов бегали крысы. Лишь с началом НЭПа жизнь стала возвращаться в более или менее привычное русло.

Коммунальный советский быт прочно вошел в жизнь дома № 47. Швондеры и шариковы на практике взялись осуществлять провозглашенный в их гимне принцип «Кто был ничем, тот станет всем!». Исчезла красная ковровая дорожка, что вела через все парадное в квартиры второго этажа, где жили Солововы. Туда же канул и швейцар в богатой ливрее, а вместе с ним и внутренний телефон, по которому он звонил жильцам, сообщая о пришедших к ним гостях. К доктору подселили соседей, оставив из девяти комнат лишь три, да еще и бывшее помещение для прислуги (которая теперь и сама могла рассчитывать на бывшие «буржуйские» квадратные метры). В общей сложности в квартире одновременно проживало более тридцати человек, которым приходилось часами стоять в очереди в один туалет и в одну ванную. На кухне умещалось до девяти столов. Несмотря на очевидные трудности общежития, доктор Соловов продолжал лечить людей. Он умер за год до начала войны, в 1940 году (сам поставил себе диагноз – неизлечимую болезнь). Его потомки жили в доме до начала 2000-х годов.

Ну а те, кому удалось вырваться из Советской России, с ностальгией вспоминали здешние края: «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разных Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает “Прага”, сладостный магнит. В цветах и в музыке, в бокалах и в сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая, и распущенная. Гремят и выюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик, в санях вытертых, на лошаденке дмитровской, звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади – зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях, везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И, отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром, – кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто – и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием, тайно прельщающим над кристаллом снегов», – плакал Борис Зайцев.



Ли́ка Ми́зинова и Анто́н Че́хов

В этой же квартире Соловова, теперь уже коммунальной, в 1920-х годах жил и ученый-историк Иван Иванович Полосин (1891–1956), исследователь эпохи Ивана Грозного. Выпускник Московского университета, после 1916 года он служил в Румянцевском музее, затем преподавал в институтах. В 1930 году Полосина арестовали по так называемому академическому делу, обвинив в участии в антисоветской контрреволюционной организации «Все-народный союз борьбы за возрождение свободной России». Во главе заговора чекисты поставили академика С.Ф. Платонова. Сидел Полосин в Бутырках, но виновным себя не признал. Приговорили его к трем годам концлагеря, а затем и к ссылке. В Москву он больше не вернулся.

А вот Лидию Стахиевну Мизинову (или Лику Мизинову) представлять не надо. Ее знает любой, кто читал Чехова или даже слегка приобщался к его биографии. Горячая поклонница писателя, она оставила неизгладимый след в его творчестве. Мизинова послужила прототипом Нины Заречной в пьесе «Чайка», а ее пение Чехов запечатлел в «Моей жизни» и «Черном монахе». Женщина она была красивая – настоящая Царевна Лебедь из русских сказок. «Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под “соболиными” бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой – делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь (...) заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и засматривались в театре», – писала Т.Л. Щепкина-Куперник.



Юрий Яковлев

С Чеховым Мизинова познакомилась осенью 1889 года, но писатель не прельстился красотой Лики, как он ее прозвал. По мнению одного из его биографов, Чехов не нашел в себе силы чувства и душевной широты, чтобы ответить на ее искреннюю и глубокую любовь. Возможно, что брак не казался ему необходимой жизненной ценностью, как это случилось позднее, уже перед лицом приближающейся смерти, когда он женился на Ольге Книппер. Их роман развивался в письмах. И вот совпадение – на Арбате, в Вахтанговском театре долго шел спектакль «Насмешливое мое счастье», где Чехова играл Юрий Яковлев, а Юлия Борисова выступила в роли Лики Мизиновой. Кстати, Юрий Яковлев некоторое время тоже жил в этом доме, в той самой квартире № 8. Он снимал комнату в период между своим вторым и третьим браками, поскольку в это время жить ему было негде (с Екатериной Райкиной, дочерью Аркадия Райкина, он уже развелся, а следующую супругу еще не нашел).

Оставшись для Чехова музой, Мизинова, тем не менее, стала женой актера МХТ Александра Акимовича Санина. С ним она и жила в этом доме, в их квартире № 11 собирался литературно-музыкальный салон. Но это было до 1917 года, а в 1922 году Мизинова и Санин эмигрировали из Советской России.

Освободившаяся квартира (триста метров!) частично перешла к публицисту Иосифу Айзенштадту, мало похожему на Чехова во всех отношениях. Прошло много лет, и в бывшей квартире подросла правнучка публициста, унаследовавшая от него страсть к литературе. Свои сочинения она подписывает как Мария Арбатова (по паспорту Гаврилина). В коммунальной квартире прошло все ее счастливое советское детство: «В 1919 году мой прадед приехал из Белоруссии и купил на Арбате часть огромной квартиры – одну лишь гостиную, которую

впоследствии разделили на три комнаты. Одну из частей этого “мира” занимали знаменитый режиссер, актер Александр Санин и его жена Лика Мизинова. Именно в этой квартире Лика пыталась соблазнить Антона Павловича Чехова, а ее горничная Оленька, которую я знала глубокой старушкой, стала прообразом чеховской “Душечки”, хотя дома ее называли душенькой. Жил здесь секретарь посольства Персии, его дочка впоследствии вышла замуж за директора ЦДЛ. В соседней комнате обитала секретарша Михаила Фрунзе, она была ученицей Константина Циолковского и страшно этим гордилась. Жил генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Иван Афонин. Даже кладовка в этом доме была занята женщиной, которая преподавала философию в Плехановском институте. Все эти люди были друг другу глубокими родственниками, если можно так сказать. Они вообще нисколько не стеснялись того, что живут вот так, в коммунальной квартире, все вместе.

В 15 лет я получила ключи от двух комнат по этому адресу: Арбат, 27, 11. Мои окна выходили на квартиру Александра Пороховщикова (актер А. Пороховщиков жил по адресу: Староконышенный переулок, 36. – А.В.). На 39 троллейбуса, от движения которого в сервантах приятно звенела посуда, я добиралась до Красной площади, абсолютно счастливая и не понимающая, за что мне досталось такое счастье. Сын белогвардейского офицера Олег Масаинов, тоже проживавший там, постоянно вызывал милицию, когда я открыла дома “салон Маши Арбатовой”, куда приглашала друзей-хиппи. Мы рисовали на стенах совершенно невообразимые картины. Тогда за мной закрепилось прозвище “Маша с Арбата”, которое я потом сделала своим псевдонимом. Позже родились дети и недолго успели пожить в этом месте.

Собственно, из-за детей мы и решились переехать. Двоих близнецов нужно было нести на руках из комнаты до ванной минут пять, такие были расстояния. Эти сложности невозможно ощущать только по молодости, с детьми они стали заметны. И врачи сказали нам, что если мы хотим, чтобы у сыновей были здоровые легкие, надо переезжать. Такое говорили почти 40 лет назад, понятно, что сказали бы сейчас...

Но Арбат мне снится, в том прежнем своем облики, и когда я заболеваю, я обязательно еду туда, меня не остановит, даже если в этот момент идет град размером с куриное яйцо. Мне необходимо надышаться каждым его камушком, и от этой терапии всегда становится легче (...). Мой дом не обошли “преобразования”. На крыше уникального памятника архитектуры появился пентхаус. Когда я увидела его в первый раз, хотела подать в суд, с точки зрения охраны памятников архитектуры, но потом подумала, как необыкновенно хорошо живет людям там, наверху, какой невообразимо красивый вид открывается у них на Арбат».

Ныне дом заявлен как объект культурного наследия, ну а та самая рюмка есть не что иное, как итог перестройки крыши здания, устроенной одним из представителей новой староконышенной «аристократии» уже в наше время.



Дом «под рюмкой», наши дни

2. Ярослав Смеляков на Арбате: «К врачам обращаться не стану»

Ночные посиделки трех поэтов у Спаса на Песках – Черный воронок – «Если я заболею, к врачам обращаться не стану» – Воскрешение – В финском плену – Из одного лагеря в другой – Забытая заначка – «В казенной шапке, в лагерном буилате, полученном в интинской стороне...» – Замысел кинофильма Эльдара Рязанова – В гостях у поэта молодой Евгений Евтушенко – Кладбище паровозов – Ни дня без мата – «Я унижаться не умею»

Плутая по старой Москве, то и дело натыкаешься на тот или иной дом, несущий в себе отголоски былого, давно отставшего времени. И сколько бы путеводителей ни брал я в руки, не найти в них того, о чем иногда хочется прочесть. В неказистом старом доме № 38/1, что при- тулился на перекрестье Арбата и Спасопесковского переулка, более 65 лет назад происходили драматические события. Теплым августовским вечером 1951 года в гости к поэту Ярославу Смелякову пришли его молодые коллеги Константин Ваншенкин и Евгений Винокуров.

Однокомнатная квартирка Смелякова была такой маленькой, что кухня в ней не помещалась. Газовая плитка и та стояла в коридоре, на ней и готовила жена поэта, Евдокия Васильевна (известная в писательских и иных кругах как Дуся). Просидели долго, читая стихи, уго- ворили три бутылки. Когда их не хватило, раскупили стоящую на окне бутылку-четверть со смородиновой наливкой. Как вспоминает Ваншенкин, Смеляков «был словно чем-то озабочен, расстроен, но пытался отвлечься, попросил нас почитать стихи. Время от времени подходил к распахнутому окну и вглядывался в темноту». Что он мог там увидеть, разве что силуэт храма Спаса на Песках, который угодил на знаменитый поленовский пейзаж «Московский дворик»? В честь этого храма-картинки и получил свое название Спасопесковский переулок.

Смеляков попросил Винокурова: «Посмотрите, там, напротив, никого нет на крыше?» Винокуров высунулся из окна, а Смеляков сказал ему: «Только не блевать!» Винокуров оби- делся – его ведь даже не тошнило, а из окна он никого не увидел.

Ваншенкин и Винокуров покинули дом в Спасопесковском уже затемно. А потом в квар- тире Смеляковых пришли незваные гости, и в карманах у них была не водка, а ордера на арест и обыск. Хозяина квартиры они забрали с собой. Было ли это неожиданностью для Смелякова? Похоже, что нет. Незадолго до ареста он признался жене: «Скоро меня посадят». Причиной плохого предчувствия послужила несдержанность Смелякова. Однажды, выпивая с Дусей и еще одним приятелем-поэтом, он сболтнул: «Странное дело! О Ленине я могу писать стихи, а о Сталине не получается. Я его уважаю, конечно, но не люблю». И все. Приятель ушел, а Дуся разрыдалась: «Если б ты видел, какие у него сделались глаза, когда ты это сказал!» – «А что я такого сказал? Сказал – уважаю».



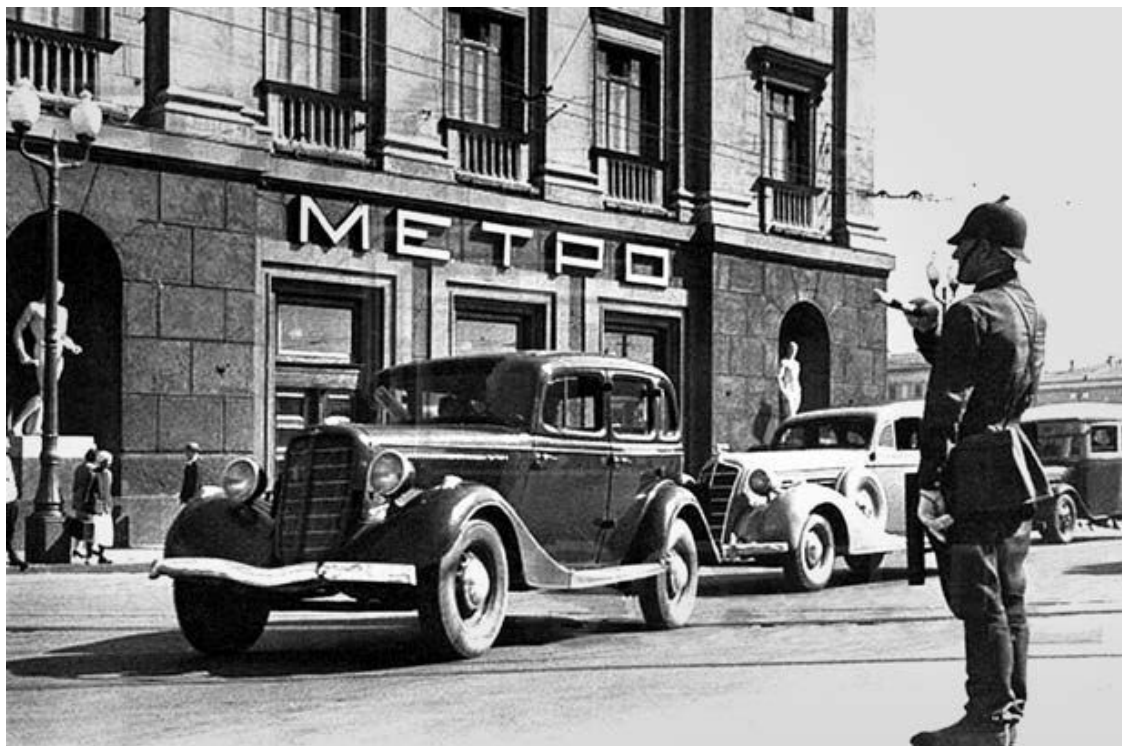
В этом доме в третий раз арестовали Ярослава Смелякова

Есть и другая версия причины ареста. Летом 1951 года в Москву приехал турецкий поэт и политический эмигрант Назым Хикмет, поселили его в гостинице «Москва». Смеляков пришел к нему под проливным дождем. Хикмет отдал промокшему поэту свою рубашку, а Смеляков подарил ему книгу «Кремлевские ели». Хикмет был рад книге: «Твое лицо похоже на лицо Маяковского, и я боялся, брат, что ты и пишешь, как он, лестницами. Но второй Маяковский, как второй Шекспир или второй Толстой, литературе не нужен. Нам всем надо стараться идти своей дорогой. А это самое тяжелое дело». После той встречи в «Москве» Смеляков стал ходить к Хикмету чуть ли не ежедневно. А потом пропал. Хикмет все пытался выяснить – в чем дело? Лишь по прошествии полутора лет одна знакомая шепотом сообщила – Смеляков арестован и будто бы без Хикмета не обошлось.

Якобы Смеляков во время одного из своих визитов в «Москву», находясь подшофе, спросил Хикмета о том, как его содержали в турецких тюрьмах, били ли его на допросах и тому подобное. На это Хикмет ответил, что его и пальцем не тронули. И тогда Смеляков бросил опасную фразу: «Считай, Назым, что ты и тюрьмы не нюхал. Подумаешь, одиночка! Да у нас за год следствия ты бы такое крещение прошел, что и ад показался бы раем». И тогда Хикмет официально попросил Союз писателей «оградить себя от дружбы» со Смеляковым, после чего последнего и арестовали.

Хикмет, дабы опровергнуть этот слух, обратился к Александру Фадееву, пытаясь защитить и Смелякова, и свое честное имя. Но руководитель Союза писателей все возможные ходатайства отверг, заявив, что помогать Смелякову бесполезно, он осужден на 25 лет по обвинению в антисоветской агитации и измене Родине. Но зато Фадеев где-то «проверил», упоминается ли имя Хикмета в уголовном деле Смелякова – оказалось, что нет. Впоследствии выпущенный на свободу Смеляков подтвердил порядочность Хикмета. При Сталине хорошей привычкой было хранить в доме чемоданчик со сменой белья и тем, что может понадобиться,

когда такой вот глубокой ночью настойчиво позвонят в дверь. Но дело было даже не в чемоданчике. Смелякова на квартире в Спасопесковском переулке взяли в третий раз. И уже в последний. Ведь срок ему дали на всю катушку – четвертак (двадцать пять лет), после чего уже не возвращаются.



Черный воронек на улицах Москвы

О чем думал Смеляков, вновь оказавшись пассажиром черного воронка? Вспоминал ли, как приехал в Москву, где в 1932 году вышла его первая книга «Работа и любовь»? Интересно, что он сам же ее и набирал в типографии, где работал тогда. Комсомольский поэт Смеляков воспевал новую Москву, нарекая ее «городом весенним, звонкотрубным, на пороге солнечных времен». А по улицам Москвы ходили герои его стихотворений: и «хорошая девочка Лида», и «Любка Фейгельман» (Любовь Саввишна Руднева (Фейгельман), которая в более чем зрелые годы утверждала, что «все, что Смеляков написал про меня, это чушь, мы с Яром никогда не целовались»). И те, к кому он обращался в самом известном своем стихотворении:

*Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.*

*Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,*

*забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.*

*Порошков или капель – не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как помотришь, почувствуешь:
вечно живем.*

*Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.*

Было у него два закадычных друга-поэта: Павел Васильев и Борис Корнилов. Оба сгинули в мясорубке сталинских репрессий. А Смелякову повезло – он выжил, правда, лучшие годы своей жизни провел за колючей проволокой. Первый раз взяли его в 1934 году; узнав об убийстве Кирова, он неосмотрительно заметил: «Теперь пойдут аресты, пострадает много невинных людей» (Евгений Евтушенко называет иную причину: «Смеляков публично справил малую нужду на портрет Сталина»). Выпустили поэта в 1937 году, когда многие шли в обратном направлении.

После освобождения он пришел к функционеру Союза писателей Ставскому. Тот приободрил Смелякова, сказал, что поможет устроиться в заводскую газету, а еще поделился злободневной проблемой: нужно вот срочно посадить Васильева и Корнилова, чем он сейчас и занимается. Как вспоминал Смеляков, услышав это, он сидел «ни жив, ни мертв». Позднее, обращаясь к матери расстрелянного Корнилова, Смеляков напишет:

*Он бы стал сейчас лауреатом,
Я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
Он-то предо мной не виноват.*

Он продолжал писать, но времени до новых тяжелых испытаний оставалось немного. В 1941 году Смеляков ушел на фронт, а вскоре попал в плен, причем в финский. Поведение его в плену было безупречно, когда в лагерь пожаловала комиссия Красного Креста, он устроил ей разнос по причине плохого содержания военнопленных. И самое главное, что после этого пленных стали даже лечить.

Интересно, что в изданном в 1943 году сборнике стихов, куда были включены произведения лучших (по мнению цензуры) на тот момент советских поэтов, помимо стихов Ахматовой и Пастернака есть и стихи Смелякова. А все потому, что его считали погибшим. Так, в письме от декабря 1942 года Лиля Брик и Василий Катанян сообщали Николаю Глазкову,

который находился в эвакуации в Горьком: «Слуцкий был легко ранен и, выздоровев, вернулся на фронт. Но вот уже два месяца о нем снова ничего неизвестно. Коган и Смеляков убиты». Через некоторое время Борис Слуцкий объявился, подтвердилась документально гибель Павла Когана в бою под Новороссийском. А вот о Смелякове по-прежнему ничего нового: если убит, то где? И тогда приятель Смелякова Евгений Долматовский решил посвятить памяти коллеги стихотворение «Последняя вечеринка»:

*Вразвалку, грузно входит в дверь
Угрюмый Ярослав.
Где ты, мой друг, лежишь теперь,
Как пламя, отпылав?*

«Когда слух о гибели Смелякова дошел и до нашего Брянского фронта, – вспоминал Яков Хелемский, – мой давний друг, а тогда и армейский однокашник, Даниил Данин одновременно получил из Москвы с оказией стихотворение Ярослава, ходившее в списках и считавшееся по с л е д н и м. Даня, хоть и сам побывал в окружении, принял эту версию на веру и внушил свое восприятие мне. Стихотворение Ярослава, теперь знаменитое, начиналось строкой “Если я заболел, к врачам обращаться не стану...”. Потрясенные очередной утратой, мы все время повторяли: “Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду...” А концовка “Не больничным уйду коридором, а Млечным Путем...” и впрямь напоминала автоэпитафию. Скорбные слухи и смеляковский шедевр слились в нашем сознании воедино. Мы тоже решили, что Ярослава больше нет. А он был. Только в плену у финнов. Когда маленькая северная страна вышла из войны, он возник, увы, ненадолго. Его сразу же спровадили на наш север. После финского плена он оказался узником ГУЛАГа».

А стихотворение «Последняя вечеринка», посвященное собственной гибели, Смеляков все же прочитал, сказав автору с юмором: «Спасибо, гражданин начальник. Оказывается, вы, как говаривали мои солагерники, в гробу меня видали... Беда в том, что мы даже не можем с тобой раздавить полбанки в честь возвращения с того света». Трудно судить – что более всего огорчило Смелякова, то ли само стихотворение, то ли сухой закон, которого придерживался Долматовский – после ранения в голову врачи категорически запретили ему употреблять спиртное. Так он и жил трезвенником, а Смеляков жалел его.

Возвратившись из финского плена, Смеляков опять угодил в лагерь, где его несколько лет «фильтровали». Вместе с ним сидел и брат Александра Твардовского, Иван. После лагеря Смелякову въезд в Москву был заказан. Работал он в многотиражке на подмосковной угольной шахте. В Москву ездил укрادкой, никогда не ночевал.

Но благодаря Константину Симонову, замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь воскреснуть. Вскоре его уже печатал «Новый мир», а в 1948 году вышла книга «Кремлевские ели». Он писал правильные стихи. В переполненных патетикой стихотворениях «Наш герб» и «Мое поколение» нет и намек на пережитые автором горести. Все как будто бы шло хорошо. Смеляков активно сочинял, зарабатывал в основном переводами национальных поэтов.



Константин Ваншенкин

Как-то он получил крупный гонорар, решив тысячи три рублей утаить от жены Дуси в качестве заначки. Едет Смеляков домой, в Спасопесковский переулок, и думает: куда бы их спрятать, чтобы Дуся не дозналась? С ним в такси ехал один поэт-собутыльник, он и подсказал: «А я заначку всегда прячу в одно место – в диван, между сиденьем и спинкой». Так Смеляков и сделал, причем немедленно. Утром, продрав глаза, Ярослав Васильевич, пересчитывая гонорар, обнаружил, что не хватает трех тысяч. Большого труда ему стоило вспомнить, куда именно он схоронил свою заначку – между спинкой и сиденьем... такси. Но пить он не перестал. Его часто можно было встретить в ресторане ЦДЛ. Однако все опять сорвалось в тот злополучный августовский вечер 1951 года.

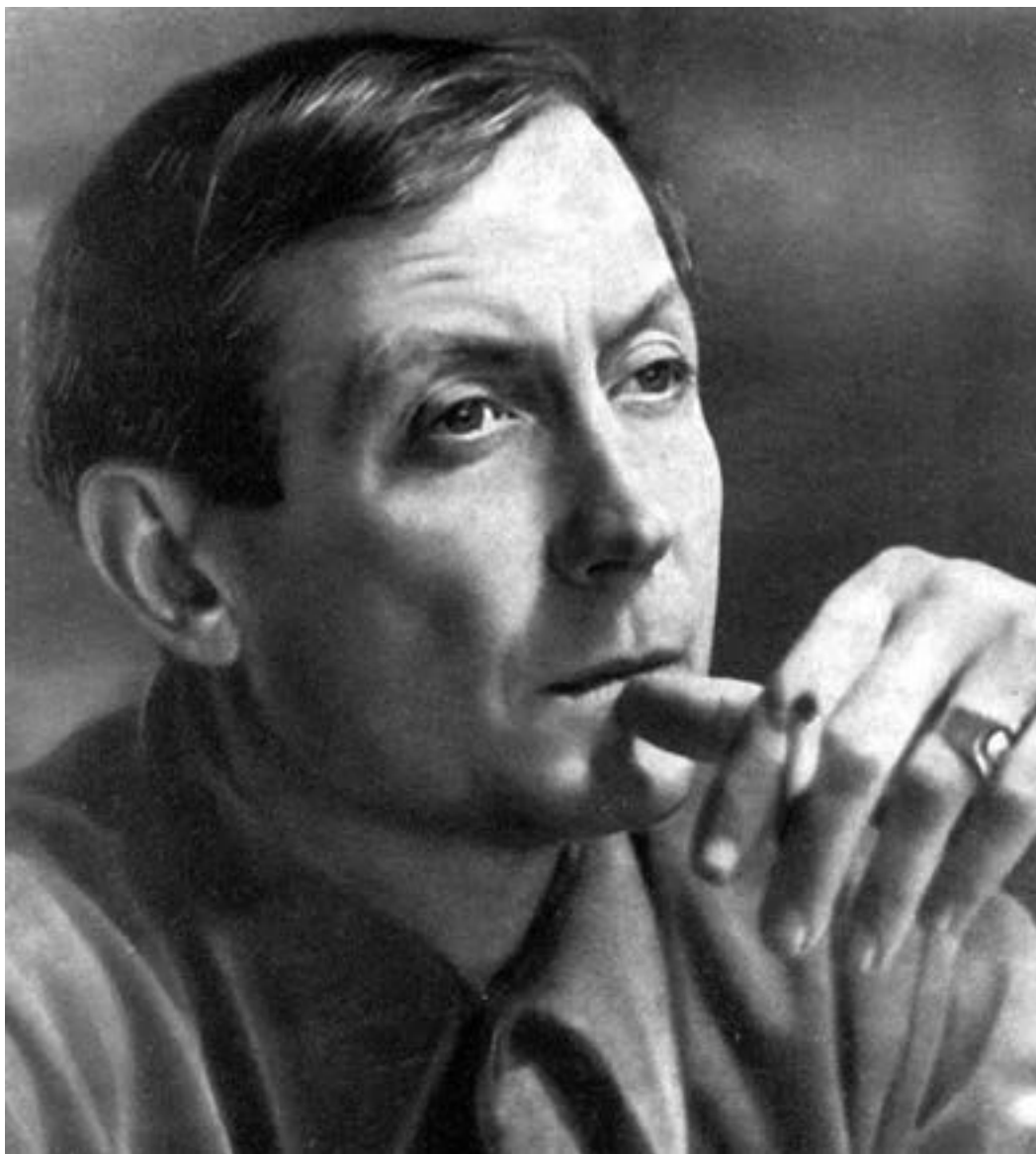
На следующее утро после ночного сидения у Смелякова в Спасопесковском, зайдя в «Литературную газету» к Семену Гудзенко, Константин Ваншенкин узнал от него, что «ночью взяли Ярослава». Опытные люди пояснили, почему Смелякова взяли только после ухода Ваншенкина и Винокурова – с ними пришлось бы возиться, вносить в протокол.

А Смеляков вскоре оказался «в казенной шапке, в лагерном бушлате, / полученном в интинской стороне, / без пуговиц, но с черною печатью, / поставленной чекистом на спине». Эти строки были написаны им в 1953 году, в заполярной Инте, печально прославившейся своими лагерями. Упоминаемая черная печать – это лагерный номер Смелякова: Л-222.

Смеляков сидел вместе с будущими сценаристами Юлием Дунским и Валерием Фридом (их «преступления» тоже связаны с Арбатом – они якобы хотели покуситься на жизнь товарища Сталина, проезжавшего здесь; правда, их окна выходили в переулок, но следователей это не смутило). В их памяти Смеляков «остался тонким, тактичным и, даже больше того, нежным человеком». В лагерной многотиражке «Уголь стране» он вел своеобразный семинар поэзии для заключенных. Но трагедии все же случались. Фриду врезалось в память, как однажды Ярослав «трясущимися от нетерпения ручками достал из заначки бутылку – и выронил на цементный пол... Тут нужен был Роден – чтобы запечатлеть в мраморе отчаянье Ярослава. Эта трагическая фигура до сих пор стоит у меня перед глазами».

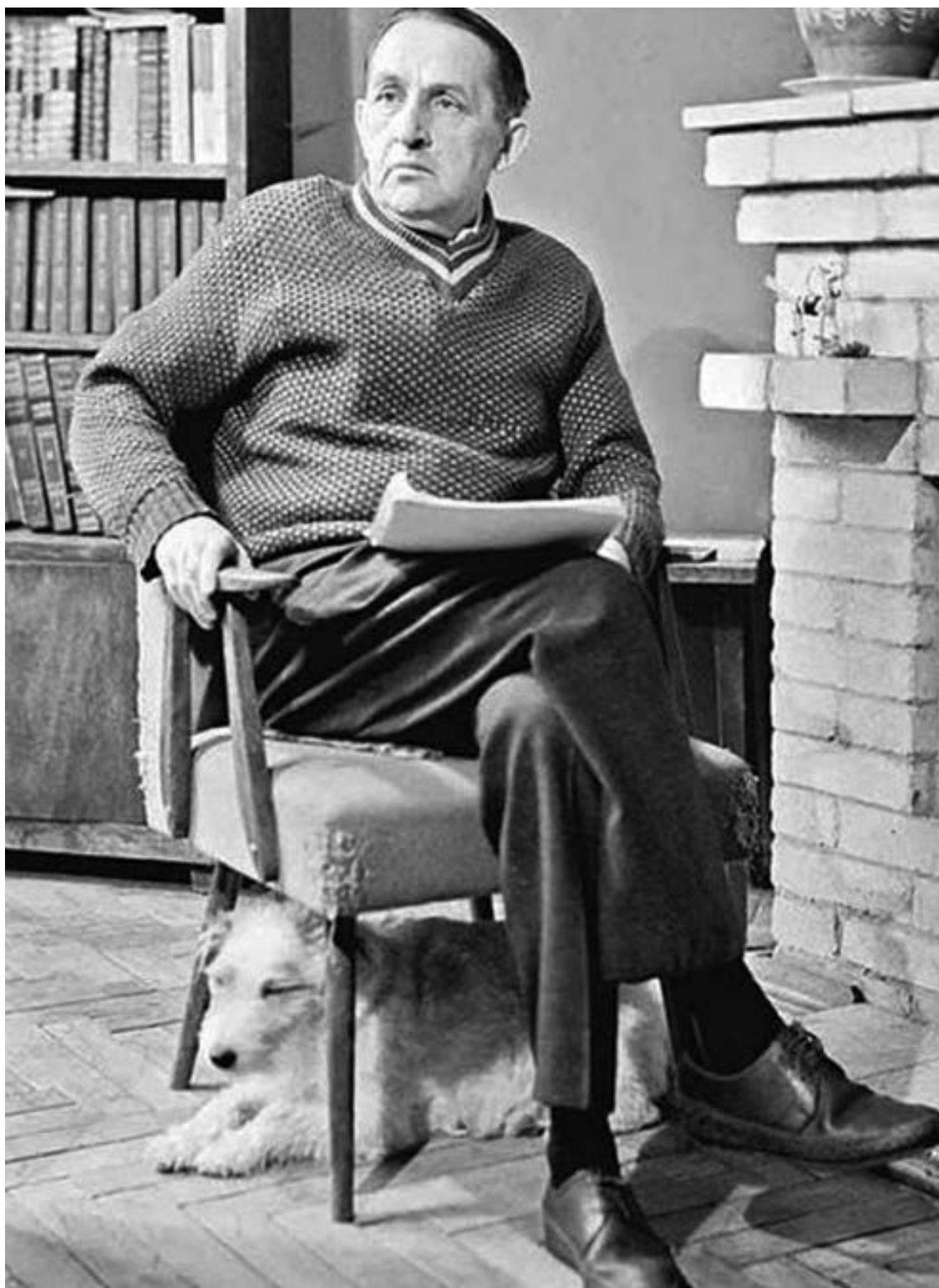
В 1953 году сценаристов выпустили, но оставили на поселении рядом с лагерем. Смелякова на выходные иногда отпускали к ним в гости: «Правда, первый визит чуть было не закончился крупными неприятностями. Мы – как обещали – подготовили угощение и выпивку, две бутылки красного вина. Смеляков огорчился, сказал, что красного он не пьет. Сбегали за белым, то есть за водкой. Слушали стихи, выпивали. Когда водка кончилась, в ход пошло и красное: оказалось, в исключительных случаях пьет. Всех троих разморило, и мы задремали. Проснулись, поглядели на часы – и с ужасом увидели, что уже без четверти восемь. А ровно в восемь Ярослав должен был явиться на вахту, иначе он считался бы в побеге. И мы, поддерживая его, пьяненького, с обеих сторон, помчались к третьему ОЛПу (лагерному пункту. – А.В.). Пospели буквально в последнюю минуту». Так родился замысел фильма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Просидел Смеляков до 1955 года и возвратился домой по амнистии (еще не реабилитированный), в огромном потоке освобожденных из тюрем людей: «До Двадцатого до съезда жили мы по простоте / безо всякого отъезда в дальнем городе Инте». Бывшие друзья-сидельцы, беспокоясь о том, чтобы Смеляков вернулся в Москву в приличном виде, а не том самом бушлате, подарили ему кожаное пальто, к тому же перекрашенное в рыжий цвет. Пальто Смеляков пропил в поезде, сменяя его на литр водки.

В Москве на вокзале Смелякова встречают коллеги: «Возвращающегося Смелякова на перроне встречают поэты уже не как равного, а как учителя. Его поэзия не была в отсутствии, ее цена выросла... На вокзале Луконин снимает с него ватник, надевает на него черную кожанку, с которой Смеляков потом никогда не расстанется. В квартире у Луконина он, тощий, остролицый, безостановочно пьет и ест и то и дело ходит в кухню, проверяя, есть ли что-нибудь в холодильнике, хотя стол ломится от еды. Его отяжелевший взгляд падает на двадцатидвухлетнего поэта, глядящего на него с ужасом и обожанием. “Ну, прочтите что-нибудь...” – неласково, с каким-то жадным страхом говорит ему Смеляков. Молодой поэт читает ему “О, свадьбы в дни военные...”. Смеляков выпивает стакан водки, уходит в другую комнату, там ложится прямо с ногами в грубых рабочих ботинках, смазанных солидолом, на кровать, и долго лежит и курит. Молодого поэта посылают за ним, укоряя в том, что он “расстроил Яру”. Молодой поэт входит в комнату, где, судорожно пуская дым в потолок, лежит и думает о чем-то человек, почти все стихи которого он знает наизусть. “Вам не понравилось?” – спрашивает молодой поэт. “Дурак...” – в сердцах говорит ему учитель, с какой-то только ему принадлежащей, неласковой нежностью», – свидетельствовал Евгений Евтушенко.



Евгений Евтушенко

Жена Дуся ушла от Смелякова к наезднику московского ипподрома Бондаревскому, потому-то он и пил у Луконина. Затем все же Смеляков вернулся в уже пустую квартиру в Спасопесковском, к нему вновь пришли Ваншенкин с Винокуровым, и Ярослав Васильевич стал вспоминать тот августовский вечер 1951 года «с необыкновенной точностью, с хмурой веселостью, с какой-то мрачной наивностью».



Ярослав Смеляков

Больше Смелякова не сажали. Его второй женой стала поэтесса и переводчица Татьяна Стрешнева, случилось это после одного случая в писательском доме творчества «Переделкино». «В тот день, когда туда приехал объясниться со Смеляковым приятель, заложивший его. Просил забыть старое, не сердиться.

Намекнул: если будешь с нами – все издательства для тебя открыты! Ярослав не стал выяснять, что значит это “с нами”, а дал стукачу по морде. Тот от неожиданности упал и пополз

к своей машине на четвереньках, а Смеляков подгонял его пинками. Это видела Татьяна Валерьевна, случайно вышедшая в коридор. Сцена произвела на нее такое впечатление, что вскоре после этого она оставила своего вполне благополучного мужа и сына Лешу ушла к Смелякову», – рассказывал очевидец.

Он много писал, печатался «и стал теперь в президиумы вхож». Как запоздалый жидкий дожидчик, что без пользы льется на раскаленную солнцем землю, посыпались на Смелякова ордена и прочие государственные отметины за стихи-«паровозы», так называли стихотворения, исполненные высокого идеологического пафоса (по меткому выражению Ильи Фаликова, творческое наследие Смелякова и есть во многом кладбище этих «паровозов»). Хотя само стихотворение «Кладбище паровозов» очень здорово написано, в нем словно отражение смеляковского поколения:

*Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья,
свинчены голоса.*

*Словно распад сознания —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.*

*Градуслики разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.*

*Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза. (...)*

За сборник «День России» (1967) Смелякову дали Госпремию СССР. Пил он по-прежнему много, даже еще больше. Язык у него развязывался, делая его еще более искренним и бескомпромиссным в оценках. Не всем это было приятно слышать. Как-то он, находясь в своем привычном состоянии, спросил Виктора Ардова: «Не понимаю, о чем с тобой может разговаривать Ахматова?» Ардов нашелся: «А как ты вообще можешь понимать, о чем говорят интеллигентные люди?»

Смеляков помогал молодым, в частности в журнале «Юность» в 1965 году напечатали поэму «Братская ГЭС» Евтушенко, предварявшуюся словами: «Под редакцией Ярослава Смелякова». Автор поэмы утверждал, что «редактура происходила в атмосфере сплошного смеляковского мата». Без мата Смеляков не мог и в этом смысле дал бы фору любому биндюжнику или грузчику. Его сосед по дому Николай Старшинов рассказывал такой случай. Как-то в квартире Смелякова шел долгий ремонт, маляры-штукатуры потрудились на славу. Вдруг в одно прекрасное утро Смеляков прибегает и просит Старшинова зайти: «Посмотрите, как эти мерзавцы-маляры изуродовали мою комнату». Старшинов видит следующую картину: посреди

комнаты стоят три растерявшихся маляра с лицами белее мела, который только-только размешивали. Оказывается, они наклеили в углу кусок обоев другого цвета, полагая, что раз там будет стоять шкаф, то ничего страшного, ибо все остальные обои кончились. Смеляков так обложил их (хотя они люди бывалые), что они впали в транс. Старшинов, пытаясь разрядить ситуацию, обратил внимание соседа, что в основном-то ремонт выполнен хорошо. В ответ он получил такой посыл отборного мата, что даже не смог открыть рта. Четыре дня они не разговаривали, пока Смеляков не выразил некое подобие извинения. При этом он ко всем обращался только на «вы» и не выносил, когда ему тыкали.

Умер Смеляков еще нестарым человеком, месяц не дожив до шестидесятилетия. Уходил он тяжело. Не прибавила здоровья Ярославу Васильевичу ни новая жена, ни новая квартира на Ломоносовском проспекте, ни бывшая фадеевская дача, на которой он жил в Переделкине, о чем пронзительно написал Константин Ваншенкин:

*Смеляков на фадеевской даче
Пишет стих на втором этаже,
Получив ее в виде удачи
После Сашиной смерти уже.*

*(Так его называл лишь заглазно,
Да и то если гордости вал
Поднимал Смелякова, – а гласно
«Александр Александрович» звал)...*

А наиболее пронзительные стихи самого Смелякова увидели свет уже после его смерти, в перестройку. И среди них выделяется одно – о его первом следователе:

*В какой обители московской,
в довольстве сытом иль нужде
сейчас живешь ты, мой Павловский,
мой крестный из НКВД?*

*Ты вспомнишь ли мой вздох короткий,
мой юный жар и юный пыл,
когда меня крестом решетки
ты на Лубянке окрестил?*

*И помнишь ли, как птицы пели,
как день апрельский ликовал,
когда меня в своей купели
ты хладнокровно искупал?*

*Не вспоминается ли дома,
когда смежаешь ты глаза,
как комсомольцу молодому
влепил бубнового туза?*

*Не от безделья, не от скуки
хочу поведать не спеша,
что у меня остались руки
и та же детская душа.*

*И что, пройдя сквозь эти сроки,
еще не слабнет голос мой,
не меркнет ум, уже жестокий,
не уничтоженный тобой.*

*Как хорошо бы на покое, —
твою нехоти вспомнив мать, —
за чашкой чая нам с тобою
о прожитом потолковать.*

*Я унижаться не умею
и глаз от глаз не отведу,
зайди по-дружески, скорее.
Зайди. А то я сам приду.*

Кажется, что все круги ада прошел этот человек: война, плен, лагеря, но не утратил человеческого достоинства. Была бы моя воля, установил бы на этом арбатском доме памятную доску с такими словами: «Здесь в третий раз арестовали поэта Ярослава Смелякова». Чтобы не забывали. И поэта, и его время.

3. Галерея на дому: у коллекционера Сергея Щукина в Большом Знаменском

Прадед Михаила Лермонтова – Как продавали актеров – Смешная история с отпеванием – Приятель Пушкина князь Николай Трубецкой – «Городок» – Откуда пошли Щукины – Вот и сколотили состояние... – Сергей Щукин женится и выселяет передвижников – «Давить конкурентов, как клопов!» – Вегетарианец и заика – Сезанна в спальню! – Лувр отказался, а Щукин купил – Матисс в Большом Знаменском: «Танец» и «Музыка» – Спаситель Пикассо «русский князь» Сергей Иванович – После 1917 года: Щукин меняется местом с кухаркой – Бегство за границу – Эта трудная парижская жизнь... – «Я не торгую принципами!»

Большой Знаменский переулок получил свое название по церкви Знамения Пресвятой Богородицы, известной с 1600 года и снесенной в 1931 году. В XVI веке здесь, неподалеку от Кремля, останавливались новгородцы, а некоторые из них оставались жить, образовав, таким образом, слободу. Слобожане и поставили церковь во имя особо чтимой в Новгороде чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Старинный особняк в Большом Знаменском (ныне дом № 8), куда мы держим путь, существовал еще на плане 1752 года – он принадлежал тогда ротмистру князю Николаю Шаховскому. А в начале XIX века владельцем дома был богатый пензенский помещик, прадед Михаила Лермонтова Алексей Емельянович Столыпин. Род Столыпиных, к которому принадлежали мать и бабушка поэта, не отличался древностью, первый документ, подтверждающий возникновение фамилии, относится ко временам царя Алексея Михайловича. Столыпины владели землями в Муромском уезде.

Прадед Лермонтова выдвинулся при Екатерине II благодаря винным откупам. Многие откупщики, кстати говоря, стали в этот период богатейшими людьми, владельцами дорогой недвижимости в Москве (взять хотя бы Пашкова, которому принадлежал и поныне известный дом на Моховой улице). Столыпин был близок к фавориту императрицы, графу Алексею Григорьевичу Орлову. Современники отмечали, что Алексей Емельянович Столыпин «нигде ничему не учился, о Мольере и Расине не слыхивал, с молодых лет бывал задирой, забиякой, собутыльником Алексею Орлову». Так что поговорка «Из грязи в князи» и про него сложена. У Алексея Емельяновича было одиннадцать детей: шесть сыновей и пять дочерей. Один сын стал сенатором, другие – генералами, что давало им основание кичиться «гордостью и важностью своего рода, хотя род этот ничем не выдавался и никогда не отличался никакими заслугами отечеству, а был известен только по своему значительному состоянию и, вследствие того, довольно знатными родственными связями», – писал Михаил Загоскин. Столыпин, как и положено богатому человеку, держал в Москве крепостную труппу актеров. Столыпинских артистов можно было увидеть на сцене Петровского театра, стоявшего до пожара 1805 года на месте современного Большого театра.

К 1805 году общая численность труппы с музыкантами и детьми составляла 74 человека. Столыпин имел в своей собственности всю артистическую палитру. Были у него и комики – Кураев, Касаткин, Лисицын, и трагики, и свои тенора. Однажды во время представления «Русалки» Даргомыжского у актрисы Померанцевой случился удар прямо на сцене. Тогда в спектакль срочно ввели молодую актрису Лисицыну. Как пишет Михаил Пыляев, «актер Сандунов убедил ее согласиться сыграть за нее и сам разрисовал дебютантке лицо сухими красками так, что она долго плакала от боли, и когда надела костюм, то ее сестра и другие товарищи приняли ее за Померанцеву и с участием стали расспрашивать о здоровье. Лисицына мастерски провела свою роль и с тех пор стала любимицей публики».

Крепостные актеры от свободных артистов отличались тем, что на театральных афишах против их фамилий не ставилось слово «господин». И если они путали текст, то выговаривали

им за это непосредственно во время спектакля. В общем, с крепостными актерами особенно не церемонились, могли и высечь.

В 1806 году актеры узнали, что хозяин задумал продать их, как говорится, вместе со всеми потрохами. Надо отдать должное подневольным, лишенным всех прав людям: они решили, как это у нас часто водится, написать царю-батюшке прошение. В письме императору Александру I говорилось: «Слезы несчастных никогда не отвергались милосерднейшим отцом, неужель божественная душа его не внемлет стону нашему. Узнав, что господин наш, Алексей Емельянович Столыпин, нас продает, осмелились пасть к стопам милосерднейшего государя и молить, да щедротами его искупит нас и даст новую жизнь тем, кои имеют счастье находиться в императорской службе при Московском театре. Благодарность будет услышана Создателем Вселенной, и Он воздаст спасителю их».

Государь внял мольбам крепостных лицедеев. Большую роль в принятии положительного решения сыграл обер-камергер А.А. Нарышкин, представивший царю ситуацию в нужном свете. Нарышкин объяснил императору, что если сейчас не купить актеров у Столыпина, то потом могут возникнуть большие трудности с покупкой новых людей. Особенно, «колыми паче актрис, никогда со стороны не поступающих». Только цена не устраивала Александра I. Столыпин заломил за актеров аж сорок две тысячи рублей! После недолгих торгов собственник согласился сбавить сумму на десять тысяч. В итоге сошлись на тридцати двух тысячах рублей.

Чуть раньше Столыпин продал обер-прокурору Москвы князю В.А. Хованскому и свой дом в Большом Знаменском переулке (в начале 1805 года). Однако Василию Хованскому не суждено было прожить здесь долго – слишком уж суеверным он был. А история такова. В 1807 году скончался сосед Хованского – князь Андрей Вяземский, отец поэта Петра Вяземского. На отпевание старшего Вяземского позвали московского викария. А тот по ошибке приехал в дом Хованского. Увидев живого и невредимого хозяина, викарий выказал ему свою несказанную радость: «Как я рад, что Вы живы! А я-то ехал Вас отпевать». Хованский после случившегося решил освободиться от дома как можно быстрее.

Через год после описываемых событий особняк перешел к князьям Трубецким, превратившим свой дом в один из центров светской жизни Москвы. Один из потомков высокородного семейства, Николай Иванович Трубецкой, был другом детства Александра Пушкина. Его вполне можно спутать с полным тезкой – тоже Николаем Ивановичем и тоже Трубецким – с Покровки, где жили так называемые Трубецкие-комоды³. Сам Александр Сергеевич – видимо, из прагматических соображений, дабы не путаться – звал друга *Le Nain Jaune*, что можно перевести и как «желтый карлик».

В 1811–1815 годах Трубецкой был «архивным юношей» – служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел в Хохловском переулке. Считается, что в 1815 году Пушкин посвятил Трубецкому стихотворение «Городок», начинавшееся так:

*Прости мне, милый друг,
Двухлетнее молчанье:
Писать тебе посланье
Мне было недосуг.*

В стихотворении автор рисует своеобразную картину современного ему литературного процесса, упоминая и Батюшкова, и Крылова, и прочих. А заканчивалось оно необычным обещанием:

³ Имеется в виду младшая ветвь Трубецких. Им принадлежал дом в Москве на Покровке, так называемый дом-комод, по которому их (для отличия с другими Трубецкими) называли «Трубецкие-комод».

*Но, друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами,
(И слово уж сдержу)
Я с сельскими попами
Молебен отслужу.*

В 1823–1826 годах Трубецкой служил адъютантом командира 5-го пехотного корпуса графа П.А. Толстого, которого он «брался доставить связанного по рукам и ногам» в случае выступления декабристов в Москве. Впоследствии его карьера резко пошла вверх, он стал камергером, обер-гофмейстером, членом Государственного совета. Трубецкой был женат на графине Варваре Алексеевне Мусиной-Пушкиной.

Предание гласит, что Пушкин не раз бывал здесь. Что могло интересовать его у Трубецких? Книги. В «Городке» он признавался:

*Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне – мертвецы.
Парнасские жрецы;
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
Певцы красноречивы.
Прозаики шутливы
В порядке стали тут (...).*

С детства поэт был неравнодушен к библиотечным собраниям. У Трубецких была прекрасная библиотека числом более чем 14 000 томов, приобретенная в начале 1830-х годов у А.С. Норова. О библиотеке Пушкин упоминает в одном из примечаний к 8-й главе «Истории Пугачевского бунта». Там так и написано: «Книга сия весьма редка, я видел один экземпляр оной в библиотеке А.С. Норова, ныне принадлежащей князю Н.И. Трубецкому». Эта книга на французском языке повествовала о крестьянском восстании Стеньки Разина. Среди множества книг Трубецкого была одна, имеющая прямое отношение к Пушкину, – экземпляр «Цыган», напечатанный на пергаменте, ранее подаренный автором Сергеем Соболевскому. Последний, сам пылкий библиофил, «передарил» это ценное издание Трубецкому...

В 1850-х годах в особняке снимал квартиру профессор медицины А.И. Овер. Александр Иванович Овер (1804–1864) происходил из семьи обрусевших французов. Хирург, терапевт и патологоанатом, Овер лечил людей в крупнейших московских больницах и госпиталях, был признан и за рубежом. До самой смерти считался одним из авторитетнейших московских медиков. Лечиться у него стремились многие представители российской знати.

В 1882 году дом Трубецких в Большом Знаменском переулке вместе с примыкавшим к нему обширным (более десятины) земельным участком купил за 160 тысяч рублей купец Иван Щукин. Предводитель московского дворянства князь Николай Трубецкой и в страшном сне представить себе не мог, что его дом достанется купчишке. Глубоко презиравший буржуазных «выскочек», Трубецкой прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить в неизыблемости социаль-

ные различия в российском обществе. Но после его смерти родовое состояние было прожито, и вдова продала Щукину особняк со всем его содержимым. В Москве шушукались: если бы старый князь знал, что в его доме угнездился безродный купец Щукин, он бы перевернулся в гробу. Один из персонажей пьесы Островского «Бешеные деньги», разорившийся дворянин, сокрушался: «Где дворцы княжеские и графские? Чьи они? Петровых да Ивановых».

Как будто именно об Иване Васильевиче Щукине писал Федор Шалапин: «Российский мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в Москве. Он торгует сбитнем на Хитровом рынке, продает пирожки на лотках, льет конопляное масло на гречишники, весело выкрикивает свой товарик и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашито и что к чему как пришито. Неказиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же Хитровом рынке или на Пресне, он ест требуху в дешевом трактире, вприкусочку пьет чаек с черным хлебом. Мерзнет, голодает, но всегда весел, не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать, торгуя разным. Сегодня иконами, завтра чулками, послезавтра янтарем, а то и книжечками. Таким образом он делается “экономистом”. А там, глядь, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1-й гильдии купец. Подождите – его старший сынок первый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матисса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно разиинутыми ртами на всех непонятных еще нам Матиссов, Мане и Ренуаров, гнусаво-критически говорим: “Самодур...” А самодуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больниц и приютов на всю Москву».

Действительно, если пользоваться шалапинской фразеологией, такие вот самодуры и вправду были основным двигателем не только передовой русской, но и зарубежной культуры. Но вот что этому предшествовало – ведь каждая московская купеческая династия складывалась и образовывалась по-своему. Так, Щукины никогда не были крепостными. Издавна торговали они мануфактурным товаром в городке Боровске под Калугой. Как и большинство московских купеческих кланов, исповедовали старообрядчество. Подобно другим, женились сугубо по расчету, но, будучи недостаточно образованными самоучками, спешили дать своим детям образование в лучших западных университетах.

Во второй половине XVIII столетия, при Екатерине II, первый известный представитель фамилии Щукиных, запечатленный в семейных анналах, Петр, отважился покинуть насиженные калужские места. Вместе с сыном Василием он поехал попытать счастья в Москве, себя показать, людей посмотреть. Стали они торговать и мало-помалу начали завоевывать твердые позиции в купеческой среде. Щукины, говоря нынешним языком, нашли свою нишу на рынке. В 1787 году род Щукиных впервые упоминается в московских писцовых книгах.

Щукины не без потерь пережили нашествие французов и пожар 1812 года, сокрушивший целое поколение московских торговцев и ремесленников. Они ухитрились сохранить небольшое состояние и – что важнее – репутацию честных коммерсантов. С этим багажом Василий Щукин начал все снова и, умирая, в 1836 году восьмидесяти лет от роду, завещал свое дело сыну Ивану Васильевичу, будущему владельцу дома в Большом Знаменском переулке. В год смерти отца Ивану было всего 18 лет. Жил он на Таганке, в квартире из двух комнат: в одной стояли кровать и конторка, в другой – два станка, на которых «работалась кисея». Прошел десяток-другой лет, и семья Щукиных заняла первенствующее место в торгово-промышленной Москве, была причислена к «цвету» московского купечества. Сам же Иван Васильевич стал в 1856 году купцом 1-й гильдии, причем сразу из 3-й гильдии – перепрыгнув через ступень. От этого времени остался «Формулярный список о службе московского 1-й гильдии купца Ивана большого Васильевича Щукина». В этом документе говорится, что он происходит «из природного московского купечества», воспитание получил «в доме родителей», то есть ни в каком учебном заведении не обучался. А было купцу 1-й гильдии в то время всего тридцать семь лет

от роду. Вот так в самом расцвете сил купец Щукин занял лидирующее положение на мануфактурном рынке Москвы, существенно потеснив своих конкурентов.

Причем Щукин гордился своим происхождением, считая, что купечество делает на благо России гораздо больше, чем всякого рода потомственные князья и графы с их передававшимися по наследству деньгами, крепостными людьми, усадьбами, землями и прочим богатством. Павел Бурыйшский в своей книге «Москва купеческая» дал Щукину высокую оценку: он «был, несомненно, один из самых – не побоюсь сказать – гениальных русских торгово-промышленных деятелей».

Щукин не являлся самым богатым московским купцом, были люди и позажиточнее, но влияние его в Москве было велико, к нему прислушивались власти и многочисленные коллеги-предприниматели. Фамилия «Щукин» стала, используя сегодняшний язык, настоящей торговой маркой, знаком качества. Щукин, учитывая его личные и деловые качества, был классическим образцом, прототипом, с которого Александр Николаевич Островский мог списывать любимых своих героев – этаких пузатых, прижимистых купчишек, представителей нарождающейся московской буржуазии, населявших буквально каждую пьесу драматурга. Личность Щукина была колоритной, но и противоречивой.

С одной стороны, обладал он и все сметающим на пути деловым напором, и хваткой, и доставшейся ему от отца природной сметкой, была у него удивительная способность считать в уме, позволявшая разоблачать официантов в трактирах Охотного ряда, где он любил обедать, так и норовивших обвешивать его. С другой стороны, Щукин был человеком малообразованным – например, приезжая в Большой театр, любил подремать на кушетке в выкупленной на год ложе, пока его супруга наслаждалась музыкой. Все это сочеталось с глубокой религиозностью, политическим консерватизмом и экстравагантным образом жизни, подразумевавшим огромные расходы на дорогие кушанья, вина и сигары. Естественно, что был он завсегдатаем Английского клуба, привив эту склонность и сыновьям.

Иван Васильевич не отказывал себе в удовольствиях, полюбил заграничные турне, куда выезжал каждой весной и осенью. Но в связи с тем, что в рестораны за границей он не ходил («проклятые кельнеры, так и норовят обсчитать честного человека из России»), сборы его в путешествие начинались приготовлением огромной дорожной корзины с провизией. Туда укладывались окорока, ветчина, телячья нога, бычий язык, рябчики, цыплята, солонина, несколько бутылок красного вина и минеральной воды, бутылка вермута, банки с паюсной икрой, с вареньем, с черносливом, приборы и салфетки. Часто сопровождавший отца в этих путешествиях сын Петр писал: «За границей случалось, что из-за больших размеров корзины нас не пускали в вагон, и происходили препирательства с начальниками станций; но, в конце концов, все улаживалось». И ездил Щукин не куда-нибудь в Турцию, а в Биарриц. Там нанимал квартиру (гостиниц не любил), кухарку и часто сам ходил на рынок, выбирая провизию по своему вкусу, торгуясь, сбивая цену и кляня на чем свет стоит торговцев. В общем, и за границей Иван Васильевич чувствовал себя как дома.

Личная жизнь купца 1-й гильдии несла на себе отпечаток семейного дела. Как и его приятели-купцы, он и женился из экономических соображений. Целью его брака было укрупнение капиталов, дальнейшее развитие и расширение становящегося с каждым десятилетием все более разветвленным семейного бизнеса. Невеста была из своего круга – Екатерина Петровна Боткина, дочь Петра Кононовича Боткина, известного часторговца, основателя фирмы «Боткин и сыновья». Еще в 1801 году фирма Боткина установила торговые отношения с Китаем, имела 40 отделений по России, а с 1852 году – филиал в Лондоне.

Но семья Боткиных была известна не только коробочками с чаем, Боткины слыли пламенными собирателями предметов искусства. Что только не собирали новые родственники – братья жены Щукина. Каждый из них специализировался на своем. Один коллекционировал античное искусство, другой – от картин и скульптур итальянского Возрождения до произведе-

ний русского художника Александра Иванова. Третий скупал произведения западноевропейской классической живописи и в конце 1860-х годов открыл частную картинную галерею в своем доме на Покровке. Посетители ее имели возможность познакомиться с картинами французских художников – Добиньи, Дюпре, Милле, Руссо и других. В общем, женился Иван Васильевич удачно... Но самому ему и в голову никогда не приходило тратить деньги на такое. Зато один из его сыновей, Сергей Щукин, которому в 1891 году он подарил дом в Большом Знаменском переулке по случаю рождения внука, унаследовал страсть к коллекционированию, видимо от своей матери – урожденной Боткиной.

А детей у них было много – одиннадцать: пять дочерей и шесть сыновей. Будучи сам лишенным возможности получить хорошее образование, Щукин решил, что пусть хотя бы его дети станут просвещенными людьми, благо ориентироваться было на кого – родственников своей жены. Щукин нанял целый штат гувернеров и преподавателей. Он считал, что сыновья должны овладеть главным образом техническими науками: математикой, химией, физикой. «Упирал» он и на языки, детей обучали французскому и немецкому. Когда сыновья подрастали, Иван Васильевич отправлял их в немецкую школу в Выборге, где директором был лютеранский пастор Бем, положивший в основу воспитания учеников три основных принципа: дисциплина, формирование характера и физические упражнения. После выборгской школы наследники поступали в немецкий пансион Гирста в Петербурге. Дальнейшим пунктом по плану Щукина была стажировка сыновей на лучших мануфактурах западных стран.

Следующим представителем семьи Щукиных, с которым связана история дома в Большом Знаменском переулке, был его третий сын – Сергей Иванович Щукин (1854–1936). Отец не рассчитывал на Сергея как на продолжателя семейного дела, так считает исследователь жизни С.И. Щукина Н. Думова. Мальчик был хилым, малорослым, малокровным, очень сильно заикался. Поэтому Иван Васильевич согласился на просьбу жены не отправлять его в школу и учить дома вместе с сестрами. Маленький Сергей не на шутку страдал от такого решения, чувствовал себя глубоко униженным и очень одиноким в окружении девочек. Единственным утешением для него было разрешение родителей часто гостить в Петербурге у дяди Михаила Петровича Боткина. Часами он бродил по комнатам, увешанным бесценными картинами, пристально рассматривая каждую, привыкая дышать воздухом искусства. Наверное, именно тогда зародилась любовь Сергея Щукина к живописи.

К изумлению отца, парнишка оказался чрезвычайно упрямым, почти неуправляемым. С поразительной для своего возраста настойчивостью он стремился вырваться из домашнего круга, чтобы, подобно братьям, поступить в специальное учебное заведение. Наконец отец вынужден был послать и этого сына в заграничную школу – на сей раз в Саксонию. Там мальчик сильно изменился. Физические упражнения помогли преодолеть природную болезненность, закалили его. Сергей не хватал звезд с неба, не был в числе блестящих учеников, но выделялся редкой любознательностью, независимостью суждений и большой изобретательностью. В школе он почти в совершенстве овладел французским и немецким языками, там же вполне выявились качества, ставшие определяющими для его характера, – энергичность и решительность. Маленького роста, большеголовый, с узкими, блестящими глазами, он и внешне как бы олицетворял собой сгусток энергии.

Живя в Германии, Сергей лечился у местных докторов от заикания, но лечение помогло лишь отчасти. Этот порок остался у него до конца жизни, но совершенно не оказывал влияния на его активность в делах, на общение с людьми, никогда не ощущался им как некая ущербность или признак неполноценности.

Вернувшись в Россию после окончания Высшей коммерческой академии в г. Гера в Баварии, Сергей Щукин в 1874 году вступил в отцовское мануфактурное предприятие. И вот постепенно он стал проявлять свои предпринимательские и лидерские качества, выделяясь среди остальных братьев. А ведь он был не самым старшим в семье – всего лишь средним сыном. Но

даже не имея столько опыта в управлении и организации семейного дела, как его старшие братья, Сергей стал в глазах отца единственным продолжателем, на которого он возлагал надежды в сохранении и продолжении щукинского бизнеса после своей смерти. Братья же признавали очевидное превосходство Сергея в предпринимательстве и были вполне удовлетворены тем, что еще до смерти отца он стал его преемником. Все они оставались членами фирмы, получали свою долю доходов и тратили ее согласно своим устремлениям.

Самый старший брат – Николай Щукин – принимал все меньшее участие в деятельности торгового дома. Второй по старшинству брат, Петр, был слишком поглощен собирательством. Любимцем отца с детства оставался четвертый сын, Дмитрий, родившийся в 1855 году. Отец постоянно брал его с собой в деловые поездки, пытаясь исподволь приучить к предпринимательству. Но Дмитрий рос тихим, робким, сосредоточенным в себе юношей. Его страстью тоже было собирательство. Учась в коммерческом институте в Дрездене, Дмитрий Щукин день-деньской пропадал в музеях и на выставках. Поначалу коллекционировал фарфор, золотые табакерки, старинное серебро, потом увлекся живописью старых мастеров. Коммерция нисколько не интересовала юношу, зато он с огромным вниманием слушал лекции профессора В. Боде – искусствоведа с мировым именем, и, вернувшись в Россию, в течение многих лет состоял с ним в переписке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.